

Михаил **Шолохов**

Судьба человека



классика
в школе

Михаил Александрович Шолохов

Судьба человека (сборник)

Серия «Классика в школе»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9364325

*Судьба человека : рассказы, статьи / Михаил Шолохов: Эксмо; Москва;
2015*

ISBN 978-5-699-79218-4

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены рассказы «Алешкино сердце», «Нахаленок», «Наука ненависти», «Судьба человека» и публицистические статьи, которые изучают в 5, 6, 7, 9 и 11-м классах.

Содержание

Рассказы	5
Алешкино сердце	5
Нахаленок	27
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Михаил Шолохов

Судьба человека (сборник)

© Шолохов М. А., наследники, 2015

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадр из фильма)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

*** * ***

Рассказы

Алешкино сердце

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сунул устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тро-нет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волды-риками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, об-тянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у

плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы, стоная, долго перелазил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Поэтому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай – скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка – младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

– Бери за ноги...

Взяли. Алешка – за ноги, мать – за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

– Леш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

– А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

– Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

– Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки – как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивая

слова:

– Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Польша, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала, – голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха – баба ядреная и злая. Увидела Польшу, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой – зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшу с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбочки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровавистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польшу в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью

вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора. Под амбаром загремел цепью и забрежал привязанный кобель.

– Цыц!.. Серко... Серко... – Стягивая губы, Алешка по-свистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и – к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

– Ах ты, хвятинов в твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захлававших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день – праздник Троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

– Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот разязвлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

– Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь – девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку – и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит – белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

– А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбавшись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

– Христа ради...

– Бог подаст!.. – И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах – хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая – полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров – шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

– Это кто тут?

– Я...

– Кто ты?

– Алешка...

– Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

– Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Синицын!».

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, трясая головой:

– Жалко тебе, жадюга?!

– Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь.

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская губами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью

«Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

– От тебя воняет, Алешка?

– Я исть хочу... – буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

– Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

– Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

– У тебя черви?

– В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук коноп-ли, а очкастый заглянул в круглую гноющуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки ка-жут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

– Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки,

хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репы выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки – цап ее за хвост, а тут сзади голос:

– Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатеи Иван Алексеев, смотрит на Алеш-

ку улыбочиво.

– Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямую брякнул:

– Пойду, Иван Алексеев.

– Ну, являйся с пожитками к вечеру! – И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться – только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья – одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату – за девять пригоршней муки, базы – за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки – зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка – к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядом, сели семейно на земле, вечерают. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерасть хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

– Ишо дармоеда привел! Он слопает больше, чем зарабатывает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

– Молчи, баба! Есть две отвертки – знай посапливай! – Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел – въедливый на работу, с семи лет погоничем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил – освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

– Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

– Я, дяденька, не занимаюсь.

– Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь – тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой распотырился, и сон нейдет. На третий день – спозаранку – прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

– Ты где запропал, Алексей?

– В работники нанялся.

– К кому?

– К Ивану Алексееву, на краю живет.

– Ну, браток, надбеги вечером. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

– Ты в грамоте знаешь, Алексей?

– В приходском учился. Себя расписываю.

– Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано – раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея, – следом. В комнатухе портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

– Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, – в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

– Здорово живешь, Иван Алексеев!

– Слава богу.

– Совесть-то всю растерял?

– Что такое?

– А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

– Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в общем, убирайся под разэтакую мать!.. – Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул – бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое доньшко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатухе народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидал Алешку, подошел, улыбаясь.

– Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу – ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул в стряпке – из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж люют он на расправу. Подошел к косилке:

– Ты где бываешь ночью, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

– Где бываешь, говорю?!

– В клубе...

– А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гирия. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на носилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

– Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтобы и духом твоим не воняло гут! – Запрягая в косилку коней, гремел хозяин: – Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

– Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах... Каждой дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребятишки клюют, а опосля и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить – за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

– Хозяин!.. – тихо так, вполголоса. Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

– Лошадей бы трошки подкормить... – доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидел, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

– Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а

сам прислушался, приподнимая голову.

– Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремья сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услышал Алешка сипло-придушенный:

– Пулеметы есть у них?

– Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

– Завтра в полночь приедем на гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

– Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к Казенному лесу.

* * *

Утром за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

– Ты что не лопаешь?

– Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, про-

шел на гумно, перемахнул через плетень и – рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабнящее сердце.

– Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:

– Посиди тут... – и вышел.

С полчасика просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

– По злобе наговорено вам...

– А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

– Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

– Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым – Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши drobный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

– Ро-о-та... пли!.. Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы – ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка – над головой тягуче-нудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный

удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

– За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыкнула щеколда.

– Вот они! Двое забежали в хату!.. – крикнул Алешка.

Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огородой, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

– Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

– По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

– Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до

сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росой. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девочку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

– Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидел Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся – очкастый привстал на колени, а сам белее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулись огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стону-

щий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидел над собою зеленое – от бессонных ночей – лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

– Я живой... не помер...

– И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

– Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит – на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидел то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.

Нахаленок

Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

– А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..

– За что, дедуня? – спрашивает Мишка.

– А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселью отнес, прокатал!..

– Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! – в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

– Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чутьочку открыл левый глаз – в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на Пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат

в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:

– А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

– Мійнюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! – кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.

– Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!.. – кричит батянька и знай себе пестает Мишку – то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

– Пусти, батянька!

– Ан вот не пушу!

– Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..

Посадил отец Мишку к себе на колени, спрашивает, улыбаясь:

– Сколько ж тебе лет, пистолет?

– Восьмой идет, – поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

– А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?

– Помню!.. – крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

– Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий! – И отца просит: – Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним занимаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

– Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька, – и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой,

но тут подошел к нему Витька – попов сынок.

– Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддержул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:

– Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

– Это от золотухи, а ты – мужик, и тебя мать под забором родила!..

– А ты видал?

– Я слышал, как наша кухарка рассказывала мамочке.

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

– Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой – кровожад и чужие пироги трескает!..

– Нахаленок!.. – кривя губы, крикнул попович. Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

– Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

– Мне батянька лучшей твоего с войны принес!

– Вре-ошь? – недоверчиво протянул Витька.

– Сам врешь!.. Раз говорю – принес, значит – принес!..

И заправское ружье...

– Подумаешь, какой ты стал богатый! – завистливо усмехнулся Витька.

– И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

– А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

– Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

– Говори.

– Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно скосился:

– Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

– Твой отец – коммунака! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом, – отправляйся в ад!» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

– А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

– Мой папочка – священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал до-

мой.

У огородного плетня остановился, крикнул, грозя попovichу кулаком:

– Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь – не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка – выручать: попробовал калитку открыть – свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил – глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.

– Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и – рысью к деду.

– Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

– Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты, лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:

– Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

– За что ты его?

– Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

– Это он на супоросой свинье катался? – ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:

– Не ездь на свинье!.. Не ездь!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

– Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик поднимаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой – не достал. Подхватила мать Мишку – в хату толкнула:

– Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь – не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

– Ну, дедунюшка... попомни!

– Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

– Значит, ты мне грозишь? – переспрашивает дед. Миш-

ка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

– Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хотя не проси тогда!

Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костью, а у самого в бороде хоронится улыбка.

* * *

Для отца он – Минька. Для матери – Мйнюшка. Для деда – в ласковую минуту – постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, – «эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!».

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятшек, для всей станицы – Мишка и «нахаленок».

Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился, потрескался

шелухой. Одним хорош колченоженький Мишка – глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

– Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается – не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, побряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стучаясь головой о перекладины, дополз до конца.

– Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестись? Вот тут,

под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут положишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:

– Твой батянька на войне был?

– Был.

– А что он там делал?..

– Известно что – воевал!..

– Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..

Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.

– А твой отец коммунист?.. – спрашивает.

– Не знаю...

– Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..

Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать – за что? Крепко сжал зубы и сказал:

– У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!

Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:

– Руки у него короткие! Папочка не даст ему святого бла-

гословения, а без святости он ничего не сделает!..

Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:

– А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»

Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:

– Бейте его, ребята, что смотреть?!

– Бей коммунячьего сына!..

– Нахаленок!..

– Звездани его, Прошка!

Прошка взмахнул прутот и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно, шлепнулся на песок.

Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.

Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.

Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунувшись в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково,

как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаша на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

– Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

– Воевал, сыночек!

– А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

– Брежут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

– С кем ты воевал?

– С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!

Не ходи ты на войну, нехай батько иде,

Батько – старенький, на свити нажився...

А ты – молоденький, тай ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся – оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

– Ты мне сейчас не мешай, Минька, – сказал отец, – я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу!

* * *

День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутился.

– Скоро вечерять будем?

– Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб – и он за ней, мать на кухню – и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочитя.

– Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

– Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел – взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и – опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет ба-тянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол – стук!.. А Мишка локтем в стену – бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стучает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

– Я тебе, окаянный, прости, господи!.. Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

– Ты зачем же, Минька, тут лег? – спрашивает.

– Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

– А я тебе в горнице с дедом постелил...

– Я с дедом не ляжу!..

– Это почему ж?

– У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

– Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

– Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче... Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

– Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

– Ну, ладно, лягу с дедом, а про войну рассказывать не буду. – Отец поднялся и пошел в кухню.

– Батянька!

– Ну?

– Ложись уж тут... – вздыхая, сказал Мишка и встал. – А про войну расскажешь?

– Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую сигарку.

– Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и – в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые чер-

ноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

– Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..

Батянька помолчал и сказал, глядя Мишку по голове:

– А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган?

Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо, и по запыленным щекам его скупое текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

– Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб? – Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

– Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

... Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

– Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой

у них – по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззаву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все – ваше!...»

Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками – верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин – старшой у большевиков – народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих, и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие, и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижеет... Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:

– Не холодно вам, товарищ?

А я ему и говорю:

– Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки,

чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

– Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

– Так не сломят нас буржуи?

– В носе у них не кругло, товарищ Ленин! – бывало, скажу ему.

По ему слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев – кровососов наших – побоку!.. Вырастешь – не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру и Ленин помрет, а дело наше до веку живо будет!.. Когда вырастешь – будешь воевать за Советскую власть, как твой батянька воевал?

– Буду! – крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горни-

цу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке – Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки, – потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидел во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их много множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубаше.

– Ты, Мишка, почему без делов шляешься? – спрашивает он очень ласково.

– Меня дедуня пустил поиграть, – отвечает Мишка.

– А ты знаешь, кто я такой?

– Нет, не знаю...

– Я – товарищ Ленин!..

У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубаше взял его, Мишку, за рукав и говорит:

– Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в

мое войско не поступаешь?..

– Меня дедуня не пускает! – оправдывается Мишка.

– Ну, как хочешь, – говорит товарищ Ленин, – а без тебя у меня – неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:

– Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..

– Обязательно заступлюсь! – сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть – язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.

Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровавистой пеной клубятся плывущие с востока облака.

* * *

С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

– Вот привел к вам на хватуру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

– Оно конечно, мы не прочь, – сказал дед. – А мандаты у вас имеются, господин товарищ?

Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

– Есть, дедушка, все есть! – улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу.

Дед за ним, а Мишка за дедом.

– Вы по каким же делам к нам прибыли? – дорóгой спросил дед.

– Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

– Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один

миг всего ощупал; крепко, наовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

– Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

– Кто там? – спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку. – Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

– Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

– Ты мне отдай его наовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую, и ишо отдам все как есть бабки, и... – Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: – И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

– А зачем тебе Ленин? – улыбаясь, спросил чужак.

«Не даст!..» – мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

– Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и – рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:

– Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

– Что тебя лихоманец мучает! Это зачем в такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Миш-

ка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

– Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!

Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

– Граждане!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидел, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

– Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затоптали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

– Не нужен пастух!

– Пришел со службы – нехай к миру в пастухи нанимается!..

– К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

– Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! – орал чужак, грохая по столу кулаком.

– Своего человека из казаков выберем!..

– Не нужен!..

– Не хо-о-тим... мать-перемать!.. – шумели казаки, и पुще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:

– Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

– Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

– Прохора в председатели!.. – гудели около дверей.

– Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу уgomонились. Чужак, хмуря брови и брызгая слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается», – подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

– Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко

считал:

– Шестьдесят три... шестьдесят четыре, – не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул:
– Шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

– Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо.

– Ах ты, шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

– Таких правов не имеешь!

– Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

– А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

– А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое – туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.